

Под редакцией С.Ушакина и А.Голубева

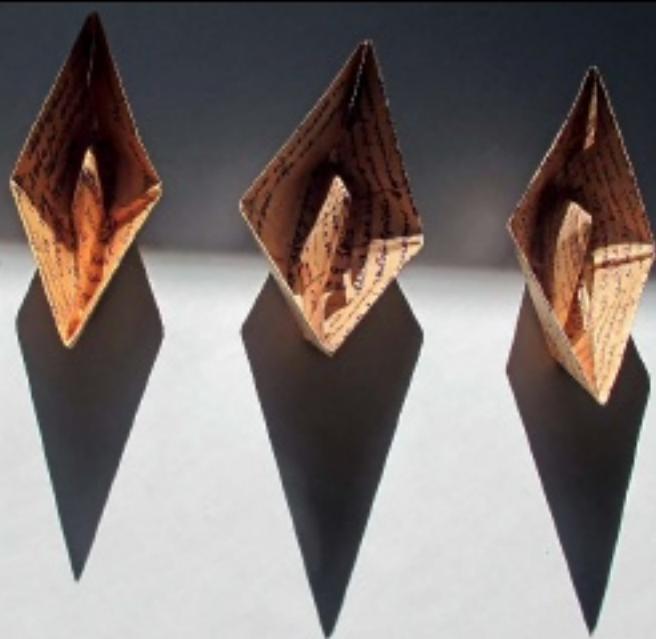
XX ВЕК: ПИСЬМА ВОЙНЫ

библиотека
журнала

Антология
военной
корреспонденции

АНТРОПОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТОЛОГИЯ ИСТОРИЯ

неприкосновенный
запас



XX век:
Письма войны

Под редакцией
Сергея Ушакина и Алексея Голубева

Москва
Новое литературное обозрение
2016

УДК 335.01(47+57)(091)«19»(044.2)

ББК 63.3(2)6-68ю14

П35

Редактор серии

И. Калинин

Составление и редакция

Сергея Ушакина и Алексея Голубева

при участии

Елены Гончаровой и Ирины Ребровой

В оформлении обложки использованы работы из серии «Архив»

Зои Фроловой

Издание подготовлено при поддержке Комитета по исследованиям
в области общественных и гуманитарных наук Принстонского университета

П35 XX век: Письма войны / С. Ушакин, А. Голубев, сост., вступ. статья,
ред.; Е. Гончарова, И. Реброва, подготовка документов. — М.: Новое
литературное обозрение, 2016. — 840 с.: ил.

ISBN 978-5-4448-0571-8

ISSN 1815-7912

Войны XX века превратили Россию и СССР в страну писем. Обязательная воинская служба, всеобщая грамотность и хорошая организация почтовой службы сделали письма основной формой коммуникации между военнослужащими и их близкими. Массовые мобилизации во время больших и малых войн XX века существенно расширили эту форму общения. Сборник «XX век: Письма войны» позволяет проследить зарождение и завершение феномена военной корреспонденции на протяжении столетия — от первой войны прошлого века в Южной Африке, когда устойчивая переписка стала возможной, до последней войны столетия на Северном Кавказе, когда письменная корреспонденция была окончательно вытеснена телефонной связью. Вековая экспозиция военных писем, представленная в сборнике, не только показывает, как происходит трансформация войны на письме, но и демонстрирует историческую динамику жанра военного письма. В сборник вошли подборки писем из частных коллекций, архивных и музейных фондов, а также ранее опубликованных, но малодоступных источников. За редким исключением письма представлены целиком, без купюр.

УДК 335.01(47+57)(091)«19»(044.2)

ББК 63.3(2)6-68ю14

© С. Ушакин, А. Голубев, составление, вступительная статья, 2016

© Авторы, 2016

© ООО «Новое литературное обозрение», 2016

Алексей Голубев, Сергей Ушакин

ЭКС-ПОЗИЦИЯ ПИСЬМА: О ПРАВИЛАХ ЧТЕНИЯ ЧУЖОЙ ПЕРЕПИСКИ

...письмо всегда приходит по назначению.

Жак Лакан

...Жизнь, которой,
как даренной вещи, не смотрят в пасть,
обнажает зубы при каждой встрече.
От всего человека вам остается часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи.

Иосиф Бродский

В «Похищенном письме» Эдгара Аллана По письмо занимает странное место. Его крадут и прячут. Им шантажируют. Его ищут. За его возвращение обещают большую награду. Письмо порождает сеть сложных человеческих отношений. Оно провоцирует ряд материальных трансформаций. Наконец, письмо становится свидетельством укоренившихся — но не замечаемых — привычек и устоев. В череде запутанных процессов, инициируемых письмом, отсутствует то, что обычно считается главным. Читатель так и не узнает, о чем именно идет речь в этом письме; неясным останутся и его точное авторство, и его точный адресат. Текст и принадлежность письма остались за кулисами сцены, на которой разыгрывается моральная, политическая, психологическая, финансовая и интеллектуальная хореография, срежиссированная (спровоцированная?) письмом. Эффект письма, его влияние, его воображаемая или реальная жизнь *вне пределов текста* стали если не более значимыми, то, по крайней мере, не менее драматичными, чем само письмо.

Комментаторы и критики «Похищенного письма» отмечали не раз: вынесение за скобки вопросов о происхождении и детальном содержании документа — т.е. отказ от его так называемого «биографического»¹ прочтения — позволяет читателю (и исследователю) задать вопросы о других, не менее важных, но часто не замечаемых ролях и функциях письма: о месте письма в сложившемся символическом порядке, о позиции письма по отношению к другим формам документальных свидетельств или о тех межсубъектных отношениях, которые возникают в процессе письма. Письмо в данном случае — проводник, связующий объект, *средство связи*, а не цель. Материальность письма, его встроенность в ритуалы обмена, коммуникативные цепочки и структуры ожидания служат точкой доступа к этим самым ритуалам, цепочкам и структурам — даже в отсутствие

¹ Felman S. On Reading Poetry: Reflections on the Limits and Possibilities of Psychoanalytic Approaches // Miller J.P., Richardson W.J. (Eds.) *The Purloined Poe: Lacan, Derrida, and Psychoanalytic Reading*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1988. P. 150.

четких представлений о содержательной стороне текста, который приводит их в движение. Письмо — это дискурсивный ключ к историческим событиям или современным явлениям, которые трудно увидеть иначе. Василий Розанов, говоря о письмах с фронтов Первой мировой войны, называл их «дыханием» оттуда¹. Разумеется, по этому «дыханию» можно судить, так сказать, о содержании кислорода или углекислоты, но главное в нем все-таки не это.

Подобный отказ от «биографического» прочтения письма, разумеется, не означает сознательного игнорирования доступного (фактического) материала. В центре такого подхода — попытка работать с документами, читая не только то, что доступно и артикулировано, но и то, что осталось за рамками письма, — будь то возможные эффекты письма, провалы в тексте или разрывы в истории происхождения документа. Задача реконструкции конкретного исторического контекста оказывается здесь в тени попыток понять (симптоматически) работу тех социальных и символических структур, частью которых в конечном итоге стали и само письмо, и связанные с ним повторения, умолчания, паузы и пробелы.

«Письмо... выполняет функцию определенного договора», — убеждал Жак Лакан слушателей своего семинара по рассказу Э.А. По². Сводя вместе автора и адресата, письмо обозначает поля взаимных отношений, условностей и обязательств. При таком подходе индивидуальное авторство письма становится вторичным по сравнению с его местоположенностью, с его позициональностью, определяемой не столько происхождением, сколько возможностью генерировать и поддерживать отношения, которые могут восходить к системам родства, идеологическим установкам или, допустим, религиозным верованиям. Одновременно оттиск и матрица социальных отношений, письмо — это наглядный пример структурирующей структуры: социальные связи здесь сохраняются и модифицируются в процессе (вос)производства форм и формул эпистолярного жанра.

Письма, вошедшие в этот том, — не похищенные. Они собирались в течение нескольких лет в частных и государственных архивах, в книжных и электронных публикациях. Но с «Похищенным письмом» По у них немало общего. Зачастую нам неизвестны самые элементарные вещи об авторах и/или условиях, в которых писались эти письма. Более того, в силу исторических событий эти письма тоже оказались — в конечном итоге — в руках тех, кому они не были адресованы. Их исходная траектория подверглась изменениям, и эти изменения, в свою очередь, не могут не влиять на характер восприятия писем сегодня. И сколько бы мы ни силились, и как бы мы ни пытались восстановить утраченные данные об авторах и условиях написания этих писем, наши попытки представить себе, что именно хотели сказать авторы, окажутся — в лучшем случае — проекциями наших собственных установок и ожиданий. «Нужно писать не о Толстом, а о *Войне и мире*», — настаивал когда-то в своем письме Юрию Тынянову Виктор Шкловский³.

¹ Розанов В. Война 1914 г. и русское возрождение // Розанов В. Последние листья. М.: Республика, 2000. С. 318.

² Лакан Ж. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (Семинар. Книга II (1954/55)) / Пер. с фр. А. Черноглазова. М.: Гнозис; Логос, 2009. С. 280. В более поздней версии текста (1966 г.) «функция» станет «символом». См.: Lacan J. Seminar on «The Purloined Letter» // The Purloined Poe. P. 42.

³ Шкловский В. Письма Виктора Шкловского в ОПОЯЗ // Шкловский В. Гамбургский счет. 1914–1933. Статьи — Воспоминания — Эссе. М.: Советский писатель, 1990. С. 303.

Главное, что объединяет письма, собранные в этой коллекции, — это их общая принадлежность к одному и тому же полю социального и дискурсивного опыта. Все они — письма войны. О конкретных условиях возникновения этих писем мы можем лишь догадываться, однако *общие*, структурные и символические, контексты, в которых формировалась военная корреспонденция XX в., оставались на удивление постоянными.

Военная корреспонденция — как особый институт со своими правилами, законами и условностями — начинает формироваться довольно поздно — лишь в конце XIX в. Этому способствовало несколько важных решений. В 1874 г. Бернская конвенция о формировании Всеобщего почтового союза (The Universal Postal Union) упорядочила международный обмен корреспонденцией, превратив международную переписку (до этого осуществлявшуюся согласно двусторонним договорам) в такую же обыденность, как и внутренняя почта. Военная переписка между разными странами будет опираться на общие тарифные структуры (стоимость пересылки не зависела от длины пути) и стандарты классификации корреспонденции, которые определял Почтовый союз¹. Еще одним важным документом, определившим развитие военной корреспонденции, стала Гагская конвенция 1899 г., подписанная на мирной конференции, созванной по инициативе Николая II. Конвенция установила правила гуманного обращения с военнопленными, специально оговорив в одном из Приложений необходимость создания Информационного бюро для узников войны. Бюро наделялось правом сбора и бесплатной пересылки писем узников, а также корреспонденции, адресованной узникам. (Кроме того, Бюро являлось и центром сбора посылок и денежной помощи.)² Позднее Бюро станет существовать как часть Международного общества Красного Креста. Именно благодаря его деятельности письма пленных узников военных и трудовых лагерей будут доступны их родным и близким.

Институциональные предпосылки для развития военной корреспонденции сложились в XIX в., но собственно в нацию писем Россию и СССР превратили войны XX в. Армия была важным институтом социальной и географической мобильности и в имперском, и в советском, и в постсоветском обществе; военная служба являлась одной из основных причин, по которым люди покидали родные места. Массовые воинские мобилизации превратили военную корреспонденцию из локального, специфического института в самостоятельную форму коммуникации между военнослужащими и их родственниками, друзьями и знакомыми, а также представителями власти. Возникновение военного письма как самостоятельного жанра можно проследить по изменениям в переписке с двух первых войн XX в.: Англо-бурской и Русско-японской. С точки зрения военной истории XX в. начался Англо-бурской войной (1899—1902). Российская империя официально в ней не участвовала, но и не препятствовала участию

¹ См. подробнее: *Codding G.A. The Universal Postal Union: Coordinator of the International Mails.* New York: New York University Press, 1964. Детальное обсуждение роли Почтового союза как нового глобального института см.: *Resnik J. Bordering by Law: The Migration of Law, Crimes, Sovereignty, and the Mail // Yale Law School, Public Law Research Paper № 520.* Nomos Publishing 2015.

² См. статью 16 Приложения к конвенции: *Convention with Respect to the Laws and Customs of War on Land (Hague), 29 July 1899,* http://avalon.law.yale.edu/19th_century/hague02.asp.

в войне российских добровольцев — как в качестве бойцов, так и в качестве представителей общества Красного Креста. Писем с этой войны доступно не много, но они представляют своеобразную начальную точку отсчета развития военной корреспонденции XX в. Вошедшие в коллекцию письма Леонида Покровского, подпоручика российской армии, погибшего в 1900 г. в составе одного из партизанских отрядов буров, еще пересылаются с *оказией*, а не по почте. По своей структуре и стилю письма являются скорее репортажами, и их печатает газета «Варшавский дневник». Всего через четыре года — ко времени Русско-японской войны — ситуация значительно изменится. Письма Карла Маннергейма и Александра Маслова с Дальнего Востока — это пример уже *стабильно* работающего механизма дискурсивного (письма) и/или материального обмена (посылки) между военнослужащими и их родственниками. Письма Зиновия Рожественского, командовавшего Второй Тихоокеанской эскадрой (1904—1905), добавляют еще один элемент, который станет составной частью жанра военной переписки. Некоторые имена и названия в письмах Рожественского вымараны военной цензурой: у военного письма аудитория всегда больше, чем это кажется.

Мировые войны существенно увеличили поток военной корреспонденции, сделав его подлинно массовым. По оценкам советских историков, в годы Великой Отечественной войны почта ежемесячно доставляла в действующую армию до 70 миллионов писем из тыла¹. Для семей, разбросанных по всему Евразийскому континенту, письма позволяли отчасти компенсировать потерю привычных социальных структур и создать иллюзию если не присутствия военнослужащих, то хотя бы их участия в воспитании детей, заботе о родителях и организации быта. Военные письма были основным источником новостей о происходящем дома и на фронте, служили формой осмысления военного опыта, позволяли военнослужащим высказать свою политическую позицию и донести ее до широкой аудитории.

Неудивительно, что письма стали одним из основных символов прошедших войн (фронтовые треугольники), важной формой ее меморизации и перво-степенным источником для историков, изучающих культурные и социальные аспекты войны. Составление и публикация сборников писем начинается уже в ходе конкретных войн², но концептуализация эпистолярного материала в исторических исследованиях происходит позднее. Интерес профессиональных историков к письмам Великой Отечественной войны заметно вырос с первой половины 1960-х гг.³; письма же с афганской и чеченской войн все еще ждут своих исследователей⁴. Как правило, в отечественной исторической науке военные

¹ Развитие связи в СССР / Под общ. ред. Н.Д. Псурцева. М.: Связь, 1967. С. 241.

² *Кравченко Н.* На войну: Письма, воспоминания, очерки военного корреспондента. СПб., 1905; *Молостова Е.В.* Солдатские письма. Казань, 1917; Письма гнева и ненависти. М., 1942; Письма из немецкого рабства. М., 1943; *Зензинов В.М.* Встреча с Россией. Как и чем живут в Советском Союзе. Письма в Красную Армию. 1939—1940. Нью-Йорк, 1944; и др.

³ *Жучков Б.И., Кондратьев В.А.* Письма советских людей периода Великой Отечественной войны как исторический источник // История СССР. 1961. № 4. С. 55—69; *Соломатин П.С.* Фронтовые письма и корреспонденции в газету «Правда», 1941—1945 гг. // Исторические записки. 1965. Т. 75. С. 243—255.

⁴ В качестве вспомогательного источника материалы писем из Афганистана использовались в публицистике С.А. Алексиевич и военно-исторической антропологии Е.С. Сенявской: *Алексиевич С.А.* Цинковые мальчики. М.: Молодая гвардия, 1991; *Сенявская Е.С.* Психология войны в XX веке: исторический опыт России. М.: РОССПЭН, 1999.

и невоенные письма используются для изучения общественных настроений. Например, составители сборника «Письма во власть. 1917—1927» уже в аннотации указывают, что их основной целью являлось изучение «характера и динамики массового сознания»¹. Иными словами, письма традиционно воспринимаются не как самодостаточный и самостоятельный источник, но как второстепенная фактологическая «добавка» при изучении тем, сложившихся в исторической дисциплине. Структура письма, его стиль, его связь с другими формами высказываний и символизаций, уходит в данном случае на второй план. Приоритет отдается «фактической информации», (якобы) не зависящей от формы ее артикуляции.

Такой подход к письмам вылился в устойчивую традицию их публикации, где письма служат «наглядными пособиями» для той или иной авторской интерпретации истории. Логику такого подхода можно проследить на примере сборника писем довоенного периода «Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918—1932 гг.». Сборник структурирован по главам, отражающим традиционные хронологические и концептуальные установки периода — «Военный коммунизм», «Старая и новая деревня», «Смычка» деревни и города» и т.д. — и построен как связанное историческое повествование, в котором письма играют роль расширенных цитат, иллюстрирующих понимание исторического процесса как совокупности социально-политических явлений².

При таком — фактологическом — подходе историк действует подобно золотоискателю, промывающему через свой концептуальный лоток большие объемы письменной породы в поисках золотых крупиц информации. Этим обусловлена и еще одна традиция публикации писем, при котором «шлак» и «пустая порода» целенаправленно отсеиваются, для того чтобы воспроизвести лишь значимые фрагменты писем. В большинстве сборников писем Великой Отечественной войны, выпущенных в советский период, письма представлены в виде «ярких» или «показательных» фрагментов-цитат. Проблематичность такого подхода не только в том, что «яркость», «показательность» и «информативность» — это категории, не имеющие устойчивого содержания. Ориентация на фактологию, ведущая к цитатной фрагментированности, становится возможной тогда, когда критерии отбора и оценки формируются до встречи с материалом, когда форма и процесс письма оказываются принципиально несущественными по сравнению с «содержательным» компонентом.

Исследователи языка и речи — лингвисты и филологи, философы и антропологи — во второй половине XX в. не раз подчеркивали, что установка на

¹ Письма во власть. 1917—1927. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским вождям / Сост. А.Я. Лифшин, И.Б. Орлов. М.: РОССПЭН, 1998. См. также: *Лифшин А.Я.* Настроения и политические эмоции в Советской России 1917—1932 гг. М.: РОССПЭН, 2010. См. похожие по своему подходу исследования военных писем: *Сенявская Е.С.* Указ. соч.; *Козлов Н.Д.* С волей к победе. Пропаганда и обыденное сознание в годы Великой Отечественной войны. СПб.: Тесса, 2002; *Маркевич А.Н.* Солдатские письма в центральные советы как источник для изучения общественных настроений в армии в 1917 г.: Дис. ... канд. ист. наук. М., 2002; *Момотова Н.В., Петров В.Н.* Ценностный мир военнослужащих в письмах с фронтов Великой Отечественной войны // Социология. 2005. № 2. С. 106—131; *Сомов В.А.* Письма участников Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. // Вопросы истории. 2007. № 8. С. 131—135; *Иванов А.Ю.* Фронтные письма участников Великой Отечественной войны как исторический источник: Дис. ... канд. ист. наук. Казань, 2009.

² Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918—1932 гг. / Отв. ред. А.К. Соколов. М.: РОССПЭН, 1998.

информирование собеседника в процессе коммуникации — это важная, но далеко не единственная цель коммуникационного обмена. Джон Остин, создатель теории речевых актов, например, утверждал, что высказывания не только несут информацию от адресата к отправителю, они содержат в себе способность побуждать адресата сообщения к действию и способность быть действием¹. В своей классической статье «Лингвистика и поэтика» Роман Якобсон предложил базовую схему коммуникационного обмена:

	Контекст	
	Сообщение	
Адресант	Контакт	Адресат
	Код	

справедливо подчеркнув, что «каждому из этих шести факторов соответствует особая функция языка... Различия между сообщениями заключаются не в монополюльном проявлении какой-либо одной функции, а в их различной иерархии. Словесная структура сообщения зависит прежде всего от преобладающей функции»². Исследователи философии языка отмечают, что не бывает «невинных» или «нейтральных» высказываний: тексты меняют как их авторов, так и их читателей и тем самым могут рассматриваться как активные участники социальных процессов³.

Ориентируясь исключительно на сообщение, фрагментирующий фактологический подход не только отказывает письму в целостной структуре и форме, но и лишает исследователя какой бы то ни было возможности проследить всю полноту динамики функциональных отношений, задаваемых письмом. Именно поэтому, следуя русским формалистам и французским постструктуралистами, мы предлагаем видеть в письмах сборника не столько дополнительное информационное пособие, позволяющее «прояснить детали» и «дополнить картину» того или иного события, сколько самостоятельный дискурсивный феномен — «часть речи вообще», используя фразу Бродского. Незнание биографии писем в данном случае освобождает от ответственности. И эта свобода позволяет увидеть в текстах писем нарративно законченные и эстетически замкнутые произведения. Иными словами, мы предлагаем рассматривать письма в рамках подхода, который можно назвать исторической поэтикой военной переписки.

Акцент на текстуальной целостности, вызванный сознательным уходом от «биографического» подхода к письмам, значительно повлиял на характер отбора

¹ Остин Дж. Как совершать действия при помощи слов // Остин Дж. Избранное / Пер. с англ. Макеевой Л.Б., Руднева В.П. М.: Идея-Пресс; Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 13–135.

² Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против»: Сб. статей / Под ред. Е.Я. Басина и М.Я. Полякова. М.: Прогресс, 1975. С. 198–204. В число шести функций Якобсон включал коммуникативную (ориентация на *контекст*), апеллятивную (ориентация на *адресата*), поэтическую (направленность на *сообщение* как таковое), экспрессивную (ориентация на *адресанта*), фатическую (направленность на *контакт*) и метаязыковую (направленность на сам код).

³ См., например: Серво П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М., 1999. С. 12–53.

писем для сборника. За крайне редким исключением письма представлены здесь целиком, без купюр. По мере возможности мы также целенаправленно отдавали приоритет материалам, которые позволяли бы увидеть письмо в его динамике. С этим связано столь значительное присутствие в сборнике коллекций писем, написанных одним и тем же автором или одному и тому же адресату. Вынужденный минимализм биографической информации позволяет сосредоточиться на том, что обычно остается в тени исторического исследования: на тех речевых особенностях, правилах и традициях, в соответствии с которыми организованы эти «символы договора». Или чуть точнее: акцент на формальной стороне писем, собственно, и разрешает приблизиться к пониманию «содержания» договоров, функцией и символом которых стали эти письма.

Фактологическая информативность — не самый важный аспект собранной нами коллекции. Ее ценность в другом. Установка на организационные особенности письма обнажает устойчивую повторяемость тем, сюжетов, стилистических и структурных приемов, с помощью которых военная корреспонденция сложилась как особый жанр. Вековая экспозиция военных писем, представленная в сборнике, демонстрирует, как война трансформируется в письмо: сообщая о событиях, связанных с войной, в *процессе письма* авторы постоянно сводят разговор на тему работы, любви, денег или, допустим, еды. Военная переписка — с фронта, из плена, тыла или эвакуации — становится своеобразным механизмом и актом перевода с военного языка на мирный, и тринадцать разделов сборника — от «Военного дела» до «Утрат войны» — это первая попытка вычленить тематические якоря, которые, на наш взгляд, придавали устойчивость процессу подобного перевода. Понятно, что эти разделы условны: их число может быть увеличено, а их содержание может быть уточнено. Главным в данном случае является общий принцип исторической поэтики военной переписки, состоящий в стремлении понять роль (формы) письма в организации как личного опыта, так и дискурсивного материала, порожденного войной.

Относительная замкнутость тематических разделов, впрочем, не должна вводить в заблуждение, а акцент на законченности формы военного письма не равносителен отрицанию возможностей ее развития. Группируя хронологически письма *внутри* тематических разделов, мы старались подчеркнуть — насколько это возможно — литературную эволюцию жанра, изменение во времени его ключевых установок и конвенций. Именно это сопоставление и позволило, например, осознать, что жанр военного письма возник и развивался исключительно в рамках одного — XX — века. Система регулярной почтовой связи, сложившаяся к Первой мировой войне, дала жизнь и жанру регулярной переписки, с ее стилистическими традициями и психологическими ожиданиями. Новые технологии связи определяют и пределы существования военной корреспонденции. На рубеже XX и XXI вв., во время Второй Чеченской войны, военные письма как стабильный институт символического обмена начнут постепенно исчезать: доступная сотовая связь сделала обмен бумажными письмами излишней. Начало XXI в. станет концом военного письма, и этот сборник — не только попытка исторической антологии жанра, но и своеобразный памятный знак явлению, просуществовавшему всего лишь один век.

Сводить письма о войне лишь к их эпистолярным особенностям было бы, разумеется, и неверно, и несправедливо. Резкие возражения по поводу излишне формалистской интерпретации *Похищенного письма* Лаканом, сформулированные Жаком Деррида, в данном случае уместны. Отказ от «биографического» подхода к анализу письма не означает текстуализацию его авторов, их превращение в литературных персонажей. Письмо — это не просто символ некоего договора, подчеркивал Деррида, но и отражение «отношения субъективации», которое конституировало участников (субъектов) договора¹. Иными словами, внимание к человеку на письме требует определенного понимания того, как формируется сам человек письма. Авторская позиция, авторский замысел — это не только отражение индивидуальных целей и мотиваций. Человек письма должен был облечь свое «я» в те формы, которые были доступны ему и его адресатам, но которые создавались не ими. Таким образом, проблема авторства, выведенная за пределы биографии, в данном случае переносится в иной контекст: потенциальные *психологические мотивировки* авторского письма заменены здесь анализом *дискурсивных возможностей* автора. Субъектность в итоге проявляет себя в «снятом» виде — не как противостояние индивида и общества/режима, но как несоответствие между опытом индивида и доступными способами его выражения.

«Кому принадлежит письмо?» — задавался вопросом все тот же Лакан². Автору? Адресату? Дискурсивному режиму? Идеологической системе? Как определять — спросим уже мы — степень авторства письма, написанного с расчетом на пристальный взгляд цензора? С какой позиции подходить к письмам, адресованным безличным «властям» или «редакциям»? Как читать записку, переданную из плена? Как символ договора? Как способ связи? Как знак надежды?

Письмо — всегда знак отсутствия, замещение автора знаками. Однако письма войны — это символ отсутствия вдвойне, это попытка заместить и автора, и опыт, для которого нет адекватных выразительных средств. Военное письмо как процесс перевода с военного на мирный, о котором шла речь чуть выше, — это, разумеется, перевод и вынужденный, и неизбежный. Опыт войны — это опыт субъективации на границе выразительных возможностей: «Кто сам не видел, не сможет поверить в то, что творится здесь», — пишет родным Юсуп Кодзоев с обороны Одессы в 1941 г. «Знаешь, ужасно трудно связно описать этот бой, — пишет отцу сын с Русско-японской войны, — так много надо сказать, что не знаешь, на чем остановиться, перескакиваешь с одного на другое, и ничего не выходит».

«Перескоки с одного на другое», впрочем, свидетельствуют не столько о дискурсивной недостаточности, сколько о доступном способе борьбы с ней³. Постоянная смена тем — это еще и очередная попытка найти чуть более точный способ описания своей жизни на языке, понятном адресату. «Я пережил за это время много тяжелого и такого, что уже никогда не забудется и не изгладится из сознания, — сообщает в письме с фронта своей семье боец Красной армии

¹ Derrida J. The Purveyor of Truth / Trans. Alan Bass // The Purloined Poe. P. 183.

² Лакан Ж. Указ. соч. С. 279.

³ Подробнее о фрагментации как основной характеристике травматического письма см.: Ушакин С. Вместо утраты: Материализация памяти и герменевтика боли в провинциальной России // Ab Imperio. 2004. Vol. 2. С. 603—639.

в 1943 г. — Пальцы правой ноги, пятка и большой палец левой ни на одну минуту не дают забывать о себе. Не знаю, ревматизм это или обморожение. ...Фрицы, разумеется, тоже чувствуют себя не лучше. И тоже кое-что будут помнить об этих днях».

Однако то, что «не забудется», «не изгладится» и «будет помниться», остается в письмах, как правило, неназванным, проявляясь лишь как невнятный вторичный симптом (ревматизм? обморожение?), как след, последствие и часть чего-то пережитого, но так и не высказанного. «Все сглаживается одним грозным, ужасным, бесчеловечным, безжалостным, уничтожающим, наводящим ужас и бедствия словом — война, — пишет в 1941 г. с фронта своей жене боец. «Ужас» — одно из самых частых слов, которым авторы замещают конкретный опыт в своих письмах. Лишенное индивидуального содержания, это слово не проясняет происшедшего, но индексирует провал речи. «Ужас» обозначает, не раскрывая, жизнь, оставшуюся по ту сторону текста. «День ужаса, — передает в 1904 г. из Порт-Артура русский офицер, повторяя слово опять и опять. — Взрыв был ужасный. Ничего не осталось. Наш командир, адмирал, все. ...Я был случайно на Золотой горе не по службе и видел все. Ужас».

Перевод военного опыта оказывается неадекватным, точнее — адекватность — недостижимой. Эта неполноценность травматической речи, сведенной к формуле — «Видел все. Ужас», — эта ощутимая ущербность высказывания, обостренная желанием объясниться, переживается авторами писем по-разному¹. Кто-то воспринимает и интериоризирует нехватку слов, способных описать «все», как личный изъян. Невысказанность ощущается как недосказанность или даже как неискренность; недостаток слов — как нехватка правды. Пережившая плен жена пишет в 1943 г. мужу: «Сидела я в карательном отряде СС, допытывали нас всех там очень жестоко, нам выкручивали щипцами наше тело, крутили руки, в общем, Петечка, ты не можешь себе представить, какой я перенесла ужас. Ты думаешь, что я пишу тебе какую-нибудь ложь, нет, дорогой мой Петя, это все правда». В других случаях это же ощущение дискурсивной недостаточности оформляется как гносеологический и онтологический сбой: непонимание опыта артикулируется как недостаток собственной рациональности. «Какой ужас мы все перенесли, — вспоминает летом 1945 г. женщина, пережившая Ленинградскую блокаду. — Правда, тогда мы все были иначе настроены. Мне кажется, что мы были тогда все полусумасшедшие. Потому, что мы сами тогда еще плохо понимали, что делается. А теперь, когда оглядываешься назад, то мороз по коже пробирает. ...Я удивляюсь еще, как я и Вы не сошли с ума».

Ужас и угасание — слова одного корня, предполагают этимологические словари². Военные письма подтверждают это родство, если не этимологическое, то уж точно — практическое. Письмо вынуждает преодолевать онемение, вызванное ужасом, переписка заставляет искать подходящие слова, но процесс перевода производит в итоге лишь картину угасания выразительных способностей письма, угасания, отлитого в одном из писем в лаконичный оксюморон: «Просто ужасно». Этот оксюморон — и авторское признание неспособности донести

¹ Подробнее о символизации травматического опыта см.: Травма: Пункты: Сб. статей / Под ред. С. Ушакина и Е. Трубиной. М.: НЛЮ, 2009.

² Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. IV. М.: Прогресс, 1973. С. 151.

смыслы и оттенки своего опыта, и вынужденная просьба-приглашение адресату представить пережитое «своими словами».

Нехватка выразительных средств, впрочем, препятствием для переписки является лишь отчасти. Содержание, повторимся, в военных письмах, как правило, вторично. Письмо — символ договора; осознание именно этой глубинной связи, этого межличностного контракта, этого взаимного обязательства и взаимной готовности продолжать символический обмен во многом и определяет устойчивость военной переписки. Интерсубъективность, складывающаяся в процессе этих обменов письмами, имеет свои особенности: разделенность во времени и пространстве приводит к тому, что вопрос и ожидаемый ответ в процессе письма сплавляются воедино, заставляя автора тут же реагировать на реакцию, которой еще не было. Жена пишет из Череповца мужу, участвующему в советско-финской войне (1939 г.):

Леня, почему ты на мои письма не дашь ответы? Леня, я так дюжа много вынуждена тем, что тебе я посылаю уже четвертое письмо, а от тебя ответу нет. Леня, или ты не хочешь мне совсем писать письма, или что обижается на меня, или нет время вам писать? Леня, поясни ты это все мне. Леня, или я настолько не достойна пользоваться твоими мыслями, или я не должна ждать тебя, или может кто чего плохого написал, или я не такие пишу тебе письма? Леня, так постарайся, напиши мне хоть одну, и пропиши мне все, чтобы я знала что-нибудь одно. Леня, ты сулил мне карточку, а теперь, оказывается, тебе и письма нет охоты прислать.

Происхождение авторов, безусловно, сказывается на стилистике, но, судя по всему, сама структура опережающей реакции на возможный ответ, сам процесс постоянной рефлексии и непрерывного моделирования интерсубъективности на письме — формулировка того самого «договора», того самого поля общих ценностей, отношений и установок, которые и заставляют продолжать военную переписку, — присутствуют без изменений и в далеких от литературной нормы письмах из провинциального города, и в переписке столичной интеллигенции, как, например, в этом письме военного офицера своей жене в Ленинград в 1941 г.:

...я с тобой мечтаю о совершенно иной особенной счастливой жизни, а ты думаешь, что я спокойно переносу, что ты работаешь среди одних мужчин? И ты вовсе не считай меня глупым, я уже столько начитался, а особенно последняя книга Драйзера «Титан», да и вообще видал, какие случаются в жизни случайности, вот они меня и мучают, а ты, вместо того чтобы успокоить, пишешь, что если буду тебя подозревать, то уже все равно, и ты используешь мое подозрение!.. Ну представь себе: ты не получаешь от меня месяц, а может быть и больше писем, ведь это же сейчас возможно со мной... Я там, где я буду находиться, я буду с ума сходить. Думать о тебе, а ты подумаешь, что меня уже нет в живых или я не хочу тебе писать (последнего никогда не может быть), ну и на что-либо решишься? Любимая моя, ты не думай, что я тебе не верю, или подозреваю тебя в чем-либо, этого пока нет, но пойми, ведь я люблю тебя, ты понимаешь это, особой любовью, и всякое малейшее меня задевает.

Интерсубъективность, стремление автора представить модальность чтения адресата, проявляется в сборнике и еще одним любопытным образом. Письма с фронта, направленные в газеты и органы власти, в которых красноармейцы сообщают о своем патриотизме и ненависти к врагу, легко отмести как набор бессодержательных штампов, жестко заданный советской пропагандой военного времени. Однако, как показывает Йохен Хелльбек, автор вводной статьи к тематическому разделу «Штамп войны», эти же письма становятся ценным источником, если целью исследования является понимание тех дискурсивных возможностей, с помощью которых формировался и оформлялся советский человек. Осваивая стилистические конвенции и риторические приемы официального дискурса о войне, авторы писем присваивали и примеривали этот дискурс на себя. Придавая официальной речи личные акценты и особенности, они становились субъектами этого дискурса, децентрализуя производство власти и идеологии и формируя корпус текстов, который определял советскую норму не сверху, а снизу. В итоге то, что традиционно интерпретируется как идеологические штампы, при более пристальном прочтении оказывается исторически специфическими формами работы по превращению себя в советского военнослужащего, способного говорить с властью на ее языке. Солдатские письма в газеты и властям были той дискурсивной лабораторией, в которой происходила формовка общего словаря выразительных средств. Как источники «твердых» фактов эти письма действительно не представляют особого интереса, но как пример практических *действий* — в данном случае как способ освоения и исполнения советской субъектности в процессе письма — эта корреспонденция помогает увидеть, где искались и как находились символические средства для оформления военного опыта. «Публичные» письма военных демонстрируют процесс сращивания индивидуального желания высказаться с выразительными возможностями господствующего дискурсивного режима.

Прочитанное с точки зрения интерсубъективности, военное письмо позволяет проследить и еще один важный аспект: военные письма — это материальные субстанции, эмоциональный эффект которых не сводим ни к их содержанию, ни к их форме. «Маленькое *язычество* через перо, бумагу и чернила, маленький первобытный *фетишизм*, вот что действует в корреспонденции, а не одни мысли, сообщения и известия», — писал по поводу писем с фронтов Первой мировой войны Василий Розанов¹. Военные письма как объекты аффекта стали и важным каналом циркуляции приватных и публичных эмоций, и способом организации аффективных сообществ, и методом структурирования национального и международного пространства². Как показывает Ольга Никонова, автор вводного

¹ Розанов В. Указ. соч. С. 319.

² Подробнее о роли эмоций в социальных процессах см.: *Vinitsky I. A Cheerful Empress and Her Gloomy Critics: Catherine the Great and the Eighteenth-century Melancholy Controversy // Madness and the Mad in Russian Culture / Eds. A. Brintlinger, I. Vinitsky. Toronto: Toronto University Press, 2007. P. 25—45; Angst im Kalten Krieg / Hg. B. Greiner, Chr. Th. Mueller, D. Walter. Hamburg: Hamburger Edition, 2009; Лившин А.А. Настроения и политические эмоции в Советской России 1917—1932 гг. М.: РОССПЭН, 2010; Interpreting Emotions in Russia and Eastern Europe / Eds. M.D. Steinberg, V. Sobol. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2011; Нагорная О.С. «Полковник беззвучно зарыдал, слезы были на глазах*

текста к разделу «Гнев войны», в 1917 г. письма с фронта помогли перенести фокус военной ненависти с внешнего врага на внутреннего, в период Польской кампании и Зимней войны 1939—1940 гг. — персонализировать абстрактную ненависть в ситуации, когда Красная Армия выступала агрессором, и, наконец, в годы Великой Отечественной войны — объединить СССР в единое сообщество ненависти к врагу. Письмо здесь становилось действием, и вряд ли случайным является то, что многие письма ненависти, направленные в адрес Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков (созданной в 1942 г.), оформлялись авторами как мини-листовки — с подзаголовками, курсивами и выделенными жирным текстом лозунгами, такими как «Отомстим!» или «Не забудем!». Сила эмоции переводилась в графику языка, превращая текст — в жест, в символический акт.

В то же время военнотружущие отказывались воспринимать себя исключительно через призму военной идентичности и ассоциировать себя с языком военного времени. Письма давали военнотружущим уникальную возможность сохранить, воспроизводить и акцентировать свои гражданские идентичности: например, главы семьи (в переписке с женой, детьми и дальними родственниками) или сына (в переписке с матерью)¹. Переписка между супругами превращала абстрактные ячейки общества в социальные единицы, производящие и потребляющие тесты и смыслы. В условиях военного времени, разрушающего эти смыслы с ужасающей быстротой, письма давали автору возможность формировать и поддерживать свое невоенное «я», тем самым препятствуя своему окончательному превращению в тотального субъекта войны и ненависти.

Подведем итог. Универсальность дискурсивных структур, постоянная повторяемость тем и/или сюжетов в военных письмах становится очевидной в результате серии аналитических шагов. Установка на формальную целостность письма и внимание к эволюции конвенций эпистолярного жанра дает возможность проследить внутреннюю организацию института военной корреспонденции. Признание принципиальной неадекватности процесса перевода военного опыта на язык письма заставляет обращать внимание на роль риторических сбоек, стилистических смещений и тематических «перескоков». Наконец, понимание интересубъективности как ключевой социальной основы, обеспечивающей устойчивость жанра военной переписки, позволяет увидеть, как личное и социальное формулируются в процессе письма и формируют письмо.

«XX век: Письма войны» — не архив документов. Скорее это своеобразная текстуальная выставка, это тематически организованная экспозиция докумен-

у всех офицеров...»: Коммуникации эмоций за колючей проволокой // Диалог со временем. Вып. 35. М.: URSS, 2011. С. 195—205. О материальности эмоций см. тематические блоки «Объекты аффекта: к материологии эмоций», опубликованные в журнале «Новое литературное обозрение» (2013. № 120, 121).

¹ Более подробно об этом см.: Говорят живые и мертвые. Воспоминания, солдатские дневники и письма / Под ред. Г. Егорова. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1985. С. 587—588; Martha Hanna. A Republic of Letters: The Epistolary Tradition in France during World War I // The American Historical Review. 2003. № 108/5 (December). P. 1338—1361.

тального материала, не лишённая, впрочем, своей специфики. Экспозиция писем в данном случае — это еще и экс-позиция письма, своего рода демонстрация дискурсивной археологии исчерпавшего себя эпистолярного жанра. Предложенные выше подходы к анализу военных писем позволяют избежать традиционного стремления видеть в письме лишь повод для герменевтического упражнения или источник крупниц фактов для позитивистской версии истории. Садясь писать письма, их авторы превращались — перефразируя Юрия Олешу — в антропологов человеческих душ. В данном сборнике мы старались не перебивать эти голоса, а, наоборот, создать условия, способствующие их наиболее полноценному звучанию.

Именно эта задача и обусловила структуру и композицию нашего сборника. Тематические разделы — это итог длительного кураторского отбора: письма собирались почти пять лет, и в финальную коллекцию вошла лишь их небольшая часть. Попытка организовать письма хронологически — по войнам — была отброшена как малопродуктивная и мало что дающая для понимания жанра. Финальный список тем возникал постепенно, в ходе многократного чтения и обсуждения корпуса собранных текстов. Готовый материал был предложен авторам разделов для комментариев. Следуя общей установке, мы сознательно не ограничивали авторов введений в их подходах и формах анализа, оговаривая лишь общую тему конкретного раздела. В определенном смысле этот методологический карт-бланш был своего рода экспериментом, нашей попыткой увидеть, какие отклики и какие идеи могут возникнуть у читателя этих не-похищенных, но вырванных из своего родного контекста писем. Ирина Сандомирская, автор вводного текста к последнему разделу, назвала наш подход коллекционированием, и это, несомненно, так. Вальтер Беньямин был одним из первых, кто обратил серьезное внимание на фигуру коллекционера, занимающегося поиском редких, диковинных и выброшенных за ненадобностью вещей. Для Беньямина коллекционирование — это «смелая попытка преодолеть совершенно иррациональную природу присутствия объекта путем его интеграции в новую, подчеркнута сконструированную историческую систему: коллекцию»¹. Вырывая предмет из его «родного» контекста, коллекционер помещает свою «находку» рядом с близкими ей вещами, тем самым подчеркивая их общее сходство, их родство во времени, их близость в содержании. Коллекционирование — это всегда поиск неочевидных общностей и забытых связей, и Беньямин в данном случае прав: «Коллекционирование — это форма практической памяти»². Но коллекционирование — это еще и форма «борьбы с рассеиванием» исторического материала³, это активная попытка формировать *новые* контексты и *новые* категории общностей, в которых могли бы сосуществовать разнообразные «дыхания» оттуда». Коллекционер является не просто потребителем культурных смыслов, но и их производителем. Сохраняя и воспроизводя исторические смыслы, коллекции вместе с нарративами являются культурными рамками, которые задают

¹ Benjamin W. The Arcades Project. Cambridge, Mass: Belknap Press, 1999. P. 204–205.

² Ibid. P. 205.

³ Ibid. P. 211.

форму историческому воображению¹. Впрочем, задать форму историческому воображению авторам введений нам удалось лишь отчасти. Все они восприняли собранные нами коллекции по-разному, и само разнообразие этих откликов и интерпретаций, их разносторонность и несовпадаемость, наверное, и есть одна из главных целей, которой мы пытались достичь, возвращая эти письма, эти забытые части речи, в круг сегодняшних дискуссий о человеке и языке, о жизни и смерти, о войне и мире.

Ванкувер—Принстон,
январь 2015 г.

¹ *Stewart S.* On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection. Durham, N.C.: Duke University Press, 1993. P. 151–166; *Clifford J.* The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988. P. 215–251.